

Начало крестного пути

И свет не пощадил — и Бог не спас!
МИХАИЛ ЛЕРМОНТОВ

В одну обыкновенную субботу я вошла в свой дом, полная мыслей о том, как проведу воскресенье, о том, как обрадуется дочка кукле, которую я ей несу, как будет восторгаться сын слонком, которого завтра я ему покажу в зоопарке.

Я всегда говорила, что я не обольщаюсь, как другие матери, и вижу недостатки своих детей. Но я лгала. В глубине души я знала, что таких умных, красивых, обаятельных детей, как у меня, не было ни у кого на свете.

И я вошла в свой дом после работы, зная, что впереди чудесный субботний вечер и чудесный воскресный день.

Я отворила дверь. Меня поразил чужой запах сапог, табака.

Маруся сидела среди полного разгрома и рассказывала детям сказку. Груды книг и рукописей валялись на полу. Шкафы были открыты, и оттуда торчало всунутое наспех белье.

Я ничего не поняла, мне даже в голову не пришло ни одной мысли, только стало страшно, предчувствие несчастья оледенило душу.

Маруся встала и тихим, странным голосом сказала:

— Ничего, не убивайтесь!

— Где муж? Что случилось? Он попал под машину?

— Неужели вы не понимаете? Забрали его.

Нет, со мной, с ним этого не могло случиться! Ходили какие-то слухи (только слухи, ведь это было в начале 1936 года), что-то произошло, какие-то аресты... Но ведь это относилось совсем к другим людям, ведь не могло же это коснуться нас, таких мирных, таких честных...

— Как он?

— Сидел бледный, передал часы для вас, сказал, что все выяснится, чтобы вы не волновались. Детям сказал, что уезжает в командировку.

— Да, конечно, выяснится! Ведь вы знаете, Маруся, какой он честный, какой хороший человек!

Маруся горько усмехнулась и посмотрела на меня.

— Эх вы, образованная! А не понимаете, что кто туда попал, не вернется. Разве там справедливость?

Но ведь я знала о нем все, знала, что он не мог сделать ничего преступного.

Нет, я буду бодра, я докажу, что верю в справедливость нашего суда. Он вернется, и этот гнусный запах, этот пустой дом — останутся страшным воспоминанием.

А потом потянулось странное время: дети ничего не знали. Я играла с ними, смеялась, и мне казалось, что ничего не произошло, что мне приснился дурной сон. А когда я выходила на улицу, шла на работу — я глядела на всех людей как из-за стеклянной стены: невидимая преграда отделяла меня от них. Они были обыкновенные, а я обреченная. И они говорили со мной особенными голосами, и они боялись меня. Заметив меня, переходили на другую сторону. Были и такие, что оказывали мне особое внимание, но это было геройство с их стороны, и я и они это знали.

Один старый человек, член партии с 1913 года, пришел ко мне и сказал: “Устройте свои дела, может быть, вас тоже

арестуют. И помните, на вопросы отвечайте, а лишнего не болтайте, каждое ваше лишнее слово повлечет за собой длинный разговор”.

“Но ведь он совершенно невинен! Почему вы мне даете такие советы? Вы, большевик! Значит, вы тоже не верите в справедливость нашего суда? Вы недостойны партбилета!”

Он посмотрел на меня и сказал: “Запомните мои слова, а по существу поговорим через год”.

Я считала ниже своего достоинства прислушиваться к его советам. Я старалась жить так, будто ничего не случилось.

В это время проходил съезд стахановцев щетинно-щеточной промышленности. Когда мы собрались в Витебске, оказалось, что работники этой промышленности встретились впервые со дня создания советской власти. На встрече выяснилось, что в Ташкенте изобретают машину, которая уже десять лет работает в Невеле, что технология, принятая в Усть-Сысольске и дающая блестящий эффект и для качества, и для количества, и не снилась минчанам.

Это была веселая, эффективная и благодарная работа. Я была секретарем съезда, работала целыми днями, забывала, что, приехав в Москву, я опять попаду в пустую квартиру и опять буду носить передачи в тюрьму...

Назавтра после моего возвращения в Москву за мной пришли.

Смешно сейчас вспоминать, но первой моей мыслью было: все материалы съезда у меня, съезд стоил пятьдесят тысяч рублей. Вся работа в набросках, все пропадет, никто не разберет моих записок.

Пока делали четырехчасовой обыск, я приводила в порядок материалы съезда. Я не могла всерьез осознать, что жизнь моя кончена; я боялась думать о том, что у меня отнимают детей.

Я писала, клеила, приводила все в порядок, и пока я писала, мне казалось, что ничего не случилось, что я кончу работу и передам ее, а потом мой нарком мне скажет: “Молодец, вы не растерялись, не придали значения этому недоразумению!” Я сама не знаю, что я думала, инерция работы, а может быть, смятение от испуга были так велики, что я проработала четыре часа точно и эффективно, как у себя в кабинете наркомата.

Проводивший обыск следователь наконец надо мной сжалился: “Вы бы лучше простились с детьми!”

Да. Проститься с детьми... Ведь я расстаюсь с ними. Может быть, надолго. Это выяснится, этого не может быть.

Я вошла в детскую. Сын сидел в постельке. Я ему сказала: — Я уезжаю в командировку, сыночек, оставайся с Марусей, будь умным.

Губки его искривились:

— Как странно! То папа уехал в командировку, теперь ты уезжаешь, вдруг уедет Маруся — с кем же мы останемся?

Я поцеловала его худенькую ножку.

Дочка сладко спала и посапывала, уткнувшись в подушку. Я ее перевернула. Она засмеялась и что-то пролепетала.

В первый раз в жизни я поняла, что это значит, когда слезы душат. Я никак не могла вздохнуть, но до сих пор с гордостью вспоминаю, что не показала сыну горя.

Мы вышли из дома.

Закрылась дверь. Сели в машину. Сразу кончилась жизнь обыкновенная, человеческая.

Иногда мелькали в мозгу по инерции какие-то заботы. Что-то недоделано, что-то надо исправить. Собиралась замазать окно. Дует. Сын простудится. Нет, не то. Что-то важное. Мама! Я все скрывала от нее опасность, которая надо мной нависла. Я ее утешала выдуманными сведениями о муже. Теперь она узнает.

Я не обняла ее, когда прощалась в последний раз, все откладывала разговор с ней, чтобы подготовить ее... Нет. Не это самое главное. Что-то я не доделала... Я хотела идти к Сталину, добиться свидания с ним, объяснить ему, что муж мой невиновен... Нет, не то... Что-то еще я не сделала...

Всё. Отрезана жизнь. Я одна против огромной машины, страшной, злой машины, которая хочет меня уничтожить.

Лубянская тюрьма

Камера во внутренней тюрьме на Лубянке напоминала номер гостиницы. Натертый паркет. Большое окно. Пять кроватей заняты, шестая — пустая. Но окно забрано щитом. В углу параша. В двери прорезано окошечко и глазок.

Ввели меня ночью, когда в камере все спали. Мне указали кровать. Лечь на нее казалось мне столь же немислимым, как уснуть на раскаленной плите. Мне хотелось скорее поговорить с соседками, узнать от них, как проходит следствие, что мне предстоит. Я еще не научилась терпеть молча. Никто ко мне не обратился, все повернулись к стене от света и продолжали спать. Я сидела на постели, а ночь тянулась, а сердце разрывалось...

До подъема было два часа, но я их никогда не забуду.

Наконец в шесть часов в дверь стукнули: подъем.

Я вскочила уверенная, что меня сегодня же вызовут, все объяснится, я докажу, что я и мой муж не виноваты, я сумею убедить, что у меня нельзя отнять детей, что я чиста...

Первая истина, которую я усвоила, гласила, что в тюрьме главное — это научиться терпению, что меня вызовут или

сегодня, или через неделю, или через месяц, что мне никто, никогда, ничего не объяснит.

Когда я поняла это (первые два-три дня я каждую минуту ожидала, что меня вызовут, а вызвали меня только на пятый день), я начала оглядываться вокруг и знакомиться с соседками. На Женю Быховскую я обратила внимание из-за заграничного, черного с красной отделкой платья.

“Вот это уже, наверное, настоящая шпионка!” — подумала я, видя, как она моется заграничной губкой и надевает какое-то необыкновенное белье. Лицо Жени портил нервный тик.

“Я-то не прихожу в отчаяние, — подумала я. — У меня-то все выяснится, а ты попала и не можешь совладать со своим лицом”.

Как потом я узнала, Женя работала в подполье в фашистской Германии и уехала оттуда потому, что тяжелая болезнь, сопровождавшаяся неожиданными обмороками, не позволяла ей оставаться в подполье. Один раз она потеряла сознание на улице, имея при себе партийные документы. Ее спас врач-коммунист, к которому она случайно попала. В 1934 году ее отправили лечиться в СССР, а в 1936 году она была арестована. Одним из главных мотивов обвинения было, что она слишком уж ловко избегала лап гестапо, особенно в случае с обмороком, очевидно, у нее были там связи.

Всего этого я не знала и смотрела на нее с отвращением и злорадством.

Мне было легче сравнивать себя с “настоящими” преступниками. Я казалась себе рядом с ними такой ясной, такой чистой, что не только умный и опытный следователь, к которому я попаду, но и ребенок увидит, что я ни в чем не виновна.

Моя соседка справа, Александра Михайловна Рожкова, миловидная женщина лет тридцати пяти, имела срок пять

лет, уже три года пробывала в лагере, теперь ее вызвали на переследствие по делу мужа-троцкиста, которого связывали с убийством Кирова.

Александра Михайловна с утра очень озабоченно стирала, сушила и пришивала к блузке белый воротничок, так как ожидала, что сегодня ее вызовут на допрос.

Она мне рассказывала о лагере, в котором ей жилось не плохо, потому что она работала врачом, и упомянула в разговоре о своем сыне, однолетке с моим, оставшемся у подруги.

— Как! У вас остался сын? Вы его не видели уже три года?!

И эта женщина интересуется каким-то воротничком, спрашивает меня, что идет в московских театрах!

Я ужаснулась. Ведь я не прошла лагерной жизни. Я имела глупость и жестокость сказать:

— Вы, наверное, не так любите своего сына, как я. Я не смогу выжить без него три года.

Она холодно посмотрела на меня и ответила:

— И десять лет выживете, и будете интересоваться и едой, и платьем, и будете бороться за шайку в бане и за теплый угол в бараке. И запомните: все страдают совершенно одинаково. Вот вы сегодня ночью стонали и вертелись и мешали спать соседям, а Соне (она помещалась напротив меня) десять ночей не давали спать, отдохнуть она может одну ночь. А меня вы разбудили, и я до утра не могла заснуть и думала о своем сыне, которого я, по-вашему, не так люблю, как вы своего, и мне было очень тяжело.

Это был хороший урок. Я на всю жизнь запомнила, что всем одинаково больно, когда режут живое тело.

Соня, о которой Александра Михайловна говорила, что она не спала десять ночей, была хорошенькая двадцатисемилетняя шатенка, рижанка. Судьба ее забросила в Берлин, где она вышла замуж за троцкиста Ольберга, тоже рижанина. Она разошлась с ним в 1932 году и с новым мужем, советским подданным, приехала в Москву. В бытность же-

ной Ольберга она вела вместе с ним кружки русского языка для немцев-инженеров, которые ехали на работу в Москву. Всего через эти кружки прошло около ста человек. Это были безработные, просоветски настроенные люди, которые мечтали о России как о земле обетованной. Они работали в России в 1932–1933 годах. Может быть, между ними и были шпионы и террористы, но меньше всего об этом знала Соня. Однако она явилась главным свидетелем против них. Ее уже три месяца каждую ночь вызывали на допрос, держали у следователя до пяти часов утра, давали поспать один час, а днем не разрешали ложиться. Женщина она была безвольная, бесхарактерная, неумная. Ее убеждали несложными софизмами, которые ей казались неопровержимыми. Допросы шли примерно так:

— Ольберг был троцкистом?

— Да.

— На кружках он вел беседы?

— Да, для практики в русском языке.

— Будучи троцкистом, он не мог не освещать все события в троцкистском духе?

— Да.

— Троцкисты — террористы?

— Не знаю.

Удар кулаком по столу.

— Вы защищаете троцкистов! Вы сами троцкистка! Знаете ли вы, что я с вами сделаю? Вы будете счастливы, когда вас наконец расстреляют! Ваш муж (речь шла о втором, любимом, муже) будет арестован за связь с вами. Советую лучше вспомнить, что вы были комсомолкой, и помогать следствию. Итак: троцкисты — террористы?

И Соня подписывала.

— Да.

А потом начинались очные ставки с немцами, которые проходили так: ее вводили в кабинет следователя, где сидел

очумевший и мало что понимающий Карл или Фридрих. Он бросался к ней и говорил:

— Фрау Ольберг, подтвердите, что я только учился русскому языку в вашем кружке!

Следователь ставил вопрос:

— Вы подтверждаете, что Карл, имярек, был участником кружка Ольберга?

Соня отвечала:

— Да.

Карл подписывал:

— Да.

Очная ставка кончалась, успокоенный Карл шел в свою камеру и не знал, что подписал себе смертный приговор. Соня возвращалась в камеру заплаканная и говорила:

— Вот семидесятый человек, на которого я дала ложное показание, но я ничего не могла поделать.

С нею справиться было легко.

Жене Гольцман было тридцать восемь лет. Она вступила в партию в первые дни революции.

Муж ее, писатель Иван Филипченко, был воспитанником Марии Ильиничны Ульяновой и в семье Ульяновых был своим человеком. Он разделял их нелюбовь к Сталину. По этому поводу у Жени с ним были бесконечные столкновения и споры, приводившие Женю в отчаяние, потому что только два человека на свете для нее были дороже жизни: муж, который ввел ее в революцию и которого она считала честнейшим коммунистом и талантливым писателем, и Сталин, перед кем она преклонялась.

После ареста Филипченко Женю вызывали на допросы, сначала с воли, а потом арестовали и водили каждый день. Она приходила с допросов мрачная, никогда не рассказывала в камере ни о чем. Когда мои соседки обучали меня, как держаться на следствии, учили, что много говорить не надо, а то так запутаешься, что и не вылезешь, советовали сле-

дить, как следователь записывает твои ответы, а то подпишешь совсем не то, что говорила, Женя резко их останавливала и говорила мне:

— Помните, что, если вы советский человек, вы должны помочь следствию раскрыть ужасный заговор. Часто то, что кажется незначительным, дает в руки следствия нить. Вы должны говорить всю правду и верить, что невинных не осуждают.

Но однажды Женя вернулась со следствия вся в слезах, с красными пятнами на лице и потребовала бумаги для письма Сталину. В этот день она не выдержала и поделилась со мной тем, что с ней происходило. Женя не только мне советовала говорить всю правду на следствии, но и сама считала своим партийным долгом не скрывать ничего от следователя. Таким образом, она передала все высказывания Филипченко о Сталине, а также и все то, что о Сталине говорилось в Горках. За Женю ухватились. Ей дали очень квалифицированного следователя, который сначала обращался с ней как с членом партии, взывал к ее партийной совести, а потом, получив все интересующие его высказывания Филипченко, скомпоновал их и составил последний протокол так, что получалось, будто Филипченко собирался убить Сталина. Вот этот-то последний протокол Женя не подписала потому, что от мнения, что страна вздохнет, когда Сталин умрет, от слов “чтоб ему сгинуть”, которые Филипченко часто произносил, до намерения совершить теракт довольно-таки далеко.

Теперь, когда все протоколы, кроме последнего, были Женей подписаны, следователь переменял тактику, он ее ругал, кричал на нее и даже бил. Женя была возмущена и целыми днями писала письма Сталину об извращениях на следствии.

Филипченко, конечно, был обречен, независимо от того, подписала бы Женя последний протокол или нет,

но ее убивала мысль, что ему покажут ее показания и он умрет в убеждении, что она его предала. И вот, подписав добровольно все предыдущие показания, она боролась, чтобы не подписать этот последний. Ее тоже стали вызывать по ночам, а днем не давали спать, сажали в карцер. Потом вдруг ее оставили в покое, а через несколько дней простучали в стенку, что Филиппченко расстрелян и просил передать товарищам, что он умирает честным коммунистом. Женья была убита. Кроме ужаса совершившегося ее терзало то, что он не передал привета ей. Значит, он знал, что она дала на него эти страшные показания.

Четвертой обитательницей камеры была Зина Станицына, девушка двадцати восьми лет. До ареста она преподавала математику в каком-то горьковском вузе.

Я спросила, в чем ее обвиняют, и она сказала мне, что арестована справедливо, она очень виновата.

— Что же вы сделали? — спросила я.

— Я не сумела разгадать одного нашего преподавателя. Он жил в Москве, приезжал в Горький раз в неделю читать лекции по диамату. Со мной он был откровенен и о многом говорил весьма критически. Мне это казалось признаком большого ума и заботы о родине.

Он ночевал в студенческом общежитии, а вещи свои оставлял у меня на квартире. Там же он принимал товарищей, которые к нему заходили. Я удивлялась тяжести его чемоданов. Он говорил, что там книги, но на следствии показал, что он троцкист, что в чемоданах была троцкистская литература и приходили к нему товарищи по оппозиции. Таким образом, выходило, что у меня была явочная квартира.

Я слушала Зину с уважением, она была принципиальна и безжалостна к себе. Но дальнейший ее рассказ поверг меня в удивление.

— Я решила понести наказание и не оставить ни малейшего пятна на своей совести. Я вспомнила, что у нас для

преподавателей математики читал лекцию профессор Н. (фамилию не помню). Когда он на доске доказывал теорему, выключилось электричество. Ламп и свечей не было. Я расщепила линейку и зажгла лучину. Профессор закончил доказательство при лучине и сказал: “Жить стало лучше, жить стало веселей, слава Богу, до лучины докатились”. Это была явная насмешка над Сталиным, дискредитация его.

— И вы сообщили это следователю?

— Конечно!

— И не упрекали себя за его арест?

— Потом, когда у меня с профессором была очная ставка, стало как-то неприятно.

— Он признал свою вину?

— Сначала отрицал, а потом сказал, что совсем забыл этот случай, тогда не придавал ему значения.

— Но вы испортили жизнь человеку за такую малость!

— В политике нет малостей. Сначала я тоже не поняла всей преступности его реплики, а потом осознала.

Я была потрясена. В наш разговор вмешалась умудренная опытом Александра Михайловна Рожкова (ведь она уже три года провела в лагере):

— Ну, важно навести тень на человека, а потом, наверное, у него нашлись еще грехи. Был бы человек, а статья найдется.

Мне не захотелось больше разговаривать с Зиной, но в моей решимости помогать следствию и быть полностью откровенной образовалась трещина...